



В. В. РОЗАНОВ

К пятому изданию «Вех»

Идти ли русскому обществу за универсализмом всей русской литературы, как она выразилась от Жуковского до Толстого, или ему, свернув с этой дороги широкого понимания и широкого сочувствия, перейти на «железнодорожные рельсы». От Маркса до Михайловского, попросту — погрузиться в социал-демократический интерес, в социал-демократические надежды, в социал-демократические законы и всю психологию — вот практический вопрос, перед нами лежащий, вот вопрос, на который отвечают «Вехи»... «Сборник статей о *русской интеллигенции*» — таков подзаголовок «Вех», статей критических в отношении своего объекта, статей, наконец, отрицательных. Возможно ли, однако, *образованным* людям какой-нибудь страны восставать против «образованности» этой страны?.. По существу, конечно, невозможно! Невозможно Англии восставать против «английской образованности», Германии — против «германской образованности» и Франции против «французской образованности». Хотя недостатки и односторонности, конечно, в каждой из названных «образованностей» есть. «Образованность» есть умственный дух страны, умственные наклонности страны, умственные вкусы страны; наконец, это есть умственные предрассудки, предрасположения, суеверия, привычки страны, как они выражаются преимущественно в литературе и искусстве, но также в нравах общества и даже в политике страны. Ясно, что против «образованности» своей страны просто нельзя поднять голоса, не в силах поднять его никто почти в силу национально-физиологической своей природы. Как же написаны «Вехи»? Как могло случиться, что они появились? Общее правило о невозможности восстания против «образованности» своей страны имеет исключение. Ренан и Тэн¹ после разгрома Франции Германией оба заговорили о пре-

имуществах над французскою «образованностью» — образованности германской. О недостатках французской образованности «века просвещения» (XVIII век) заговорил ряд французских писателей высокого блеска после 1815 года. С падением Наполеона вдруг изменился характер и дух французской литературы — и даже, общее, французской образованности. Вольней, Бональд, Жозеф де Местр² — умы совершенно другого порядка, *другого характера*, чем Вольтер или Дидро. Таким образом, критика «образованности» какой-нибудь страны возможна в той же стране, но только она приходит не иначе как после сильного потрясения, после большого «переживания». Так было везде, случилось это и у нас. Было бы совершенно невероятно, если бы после неслыханных испытаний японской войны и опыта нашей «революции» русская литература, что называется, не дрогнула. «Не дрогнуть» эта самая впечатлительная и тонкая ткань национальной организации могла бы в обществе лишь умирающем, старом, ни на что более не отзывающемся. Успех «Вех» произошел отчасти оттого, что никакая брань на книгу не могла переубедить общество в том, что здесь подали голоса свои самые чуткие, самые впечатлительные люди страны и что после революции и войны это впервые послышался новый, свежий голос, так сказать, в уровень с пережитыми событиями, по крайней мере в *связи* с пережитыми событиями. Ибо нельзя же считать духовным отражением пережитых ударов брань на Победоносцева, ропот на закон 3 июня³ и продолжающиеся надежды на долженствующую обновить мир социал-демократию. Все это — литература до японской войны и до «великой забастовки». Все это литература «еще при Сипягине и Плеве»⁴, и только. Но пришли новые события: неужели же литература *одна* прошла бы мимо них без всякого *впечатления!*

Таким «медным лбом» не оказалась литература. И появились «Вехи»...

В прекрасно написанном М. О. Гершензоном предисловии к сборнику высказана закругленно мысль его, мотив его, историческое его положение: «Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому написаны статьи, из которых составилась настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905—1906 годов и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием *тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная*

мысль. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо, на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершилась революция и ее подавление, дали возможность тем, кто в общем сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке».

Таков голос времени, зов времени, на который ответила книга. Ее следует назвать настолько же подчеркнуто славянофильской, как и подчеркнуто западнической. В полном слиянии славянофильства и западничества, в *личном духе* ее авторов лежит лучшая ее черта, главная прелесть. Они не примиряют *идеи* славянофильства и западничества между собой, не построят для этого умственные комбинации за письменным столом, — но *сами и лично* они являются столько же русскими, славянами, сколько и западными германцами или кельтами. И. В. Киреевский, первый *славянофил* у нас, начавший литературную деятельность изданием журнала «Европеец»⁵, мог бы быть назван их прототипом и литературным родоначальником. Все грехи нашей личной и общественной жизни, грехи нашей государственности горят перед ними ярко, болят щемящею болью в их душе; но — в *их русской душе*, в *русском сознании*. Все преимущества западного духовного развития, западной дисциплины, западной школы не вызывают в них никакой зависти, и только боль о том, отчего у нас этого нет. Они суть русские по крови, по духу, по заветам, по воспитанию; и западники — по вкусам или, точнее, по мерилу в них добра и зла, по оценке развития и прогресса.

Этот факт, вполне точный, тем удивительнее, что из авторов «Вех» трое (почти половина) — евреи.



Авторы «Вех» не вполне солидарны между собою, но солидарны кое в чем общем. В предисловии это так определено: Общюю платформу соединившихся здесь авторов «является признание теоретического и практического *первенства духовной жизни над внешними формами общежития*, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе — на признании безусловного примата общественных форм, представляется участникам книги внутренне ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, — к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками «Вех» нет разногласий».

С симпатичными нам увлечениями и преувеличениями всегда хочется согласиться. И так хочется сказать «да» в ответ на этот положительный тезис книги. Но рассудительность и полная истина требуют здесь спора...

Англия или Афины променяли бы свою «Великую хартию», свой «*Habeas corpus*»⁶, свой ареопаг и епископскую кафедру⁷, своих Периклов, Кимонов, Алкивиадов⁸, своего Питта и Борка⁹ на некоторую, позволю выразиться, прелесть сердечную, сказывающуюся слезами, молитвой, постом и аскетическими упражнениями, или на непрерывные споры и рассуждения на темы совести, личного поведения и вообще «небесные», каким, например, предавались в своих «нравственных колониях» толстовцы, предавался сам Толстой в пору разработки идеи о «трех упряжках»¹⁰ (три способа проводить свой день), предаются монахи в монастырях, предаются у Диккенса — его слезливые, молящиеся, угрюмые и желчные пуритане, пиетисты? Вот вопрос. Это со стороны зрелища истории, факта истории. Но затем и теория. Толстой однажды спросил: «Как нагреть воду в котле, не согревая каждой *частицы* воды?» Он хотел сказать, что нельзя получить «итога», не имея «слагаемых». Но на этот тезис можно написать разные иллюстрации... Гонимая за «слагаемыми» и полагая в них всю сущность, один хитрый немец предлагал русским простакам чудодейственное «средство от клопов», притом «совершенно верно действующее»: нужно клопа изло-

вить, раскрыть ему ротик, положить в рот крупинку изобретенной им мази (или порошка), «и тогда клоп непременно умрет». «И когда вы, сударыня, — продолжал немец убежденно, — так поступите с каждым единичным клопом в вашем доме, тогда клопы совершенно выведутся и ваше жилище превратится из нечистоплотного русского в аккуратное немецкое». Против очевидности немецкого рассуждения совершенно нельзя спорить. Оно доказано. Но предпочтительнее просто выкуривать клопов серою или омывать стены и деревянную мебель кипятком — *разом*. Что касается до согревания воды, то опять: кто же черпает воду ложечкой, из ложки переливает в наперсточки, согревает каждый наперсточек и, слив в одно, получает такое великолепие, как «котел горячей воды»? Просто наливают воду в котел такого объема, сколько воды нужно в доме, и ставят на огонь. Так поступают кроме философов все кухарки и кроме хитрого немца все русские, да, думается, и заграничные хозяйки. Это — теория. Возвращаясь к истории, к Афинам и Англии, мы заметим, что помимо утилитарных соображений есть что-то неподражаемо свежее и прекрасное в гармоничном, спокойном и оживленном общественном устройении, есть некоторая художественность в учреждениях: и о том мальчике, который с Марафонского поля прибежал в Афины и, вскричав: «Афиняне, вы победили», — пал мертвым от изнеможения¹¹, мы до сих пор учим в школах: хотя какова «польза» этого восклицания и что тут «исторически значительного»? Но поистине «не о хлебе едином бывает жив человек» — применимо вполне и к политике. Есть что-то красивое, прекрасное и благородное в одних учреждениях и неодолимо антипатичное в других. И мы ненавидим вторые, даже если бы кто-нибудь нам вполне «доказал» их утилитарность. — «К черту доказательства! Это просто — *гадко*, вот и все». Гадка страна, проникнутая рабьим страхом, пропитанная лестью, угодничеством, пролазничеством; и хотя бы страна такая «наслаждалась вечным миром», мы ее проклинаяем; хотя бы тут «рабы все благоденствовали», например, при господах таких благочестивых, как Чертков или Неплюев¹², — мы прокляли бы и отвернулись от зрелища, от сущности, от идеи. Дело в том, что в человеке и его *необыкновенно сложной натуре* есть нечто от красоты дикой лани — и этой дольки дикой и неупорядоченной красоты нельзя уничтожить через учреждения, нельзя подавлять учреждениями, но нужно *принять в учреждения*, вставив так, чтобы красота оставалась красотой и только никому не вредила. Мальчик оттого прибежал в Афины, что он знал, что там

есть кому его выслушать. Суть не в мальчике, а в афинской толпе, которая ждала вести о победе или поражении, как о *своем — этой толпы — поражении или победе!* Если бы известие нужно было только сатрапу провинции и до него относилось бы — мальчик так не поспешил бы: пришел бы угрюмый раб и с льстивой улыбкой передал бы письмо от победителя-полководца. Совсем другое дело, иное зрелище — и учителю школы нечего было бы рассказать ученикам. Из таких грустных рассказов слагается некрасивая история; граждане страны с такой историей угрюмо помнят или совсем не помнят прошлого и не интересуются им, и не рассказывают ее иностранцам, и рассеянно смотрят по чужим краям, и уезжают в чужие края без тоски и сожаления. Это — страшное дело. Чтобы заработать красивую историю, можно решиться много перестрадать. Итак, вопреки авторам «Вех», есть *самодовлеющая* (это я подчеркнул важное у них слово) красота в учреждениях, в общественном сложении или, переходя опять к истории, — в «способе нагревать воду в котле, а не в наперстках и истреблять клопов курением серы, а не через вкладывание в рот мази».

Наконец, по наивности можно не замечать кое-чего, и такое незамечание не будет безнравственно; но когда наивности нет, когда ум сознает некоторые вещи и это сознание не берется в расчет и деятельность совершается так, как бы его не было, т. е. притворно-наивно, тогда мы имеем дело с упадком нравственности, с грехом. К числу таких «грешных» вещей относится в *наше время* и равнодушие к политическим и общественным формам жизни, со стороны их утилитарности. Землепользование, обработка земли, ремесла, строй школы (а есть и «строй школы» помимо «хороших учителей») никак не улучшатся от наших молитв, от нашего личного нравственного совершенства, наших вздыханий, покаяний, слез и т. п. На вопрос, кого предпочтительнее иметь губернатором, *лично* ли прекрасного человека, доброго семьянина, благородного gentil-hom'a, но совершенно бездеятельного, тусклого, инертного, пассивного и вообще «невинного и наивного», или же «утонувшего в личных пороках», но гениально-деятельного, неусыпного, великую административную творческую силу, *сама губерния* ответила бы:

По мне, уж лучше пей, да дело разумей!»¹³

Увы, личная нравственность и общественная неспособность так часто сочетаются! Увы, сочетаются и порок с творческим гением. Для *народа, населения*, для массы «личные пороки»

совершенно незаметны, даже невидны за стенами дома или дворца, и вообще, говоря искренне, — просто до этого никому дела нет, никому это не интересно; но личная *неспособность* к управлению поднимает вой боли в народе, да с нее часто начинается и крушение наций, государств, стран! Бисмарк поддержал бы такую падающую страну, как он поднял из «незначительного существования» Германию; но авторы «Вех» не оспорят, что сто добродетельных Чертковых при пособии всех авторов «Вех» не улучшили бы и уездного городка. Но статья в *лучшее* положение городу, уезду или стране — значит вообще испытывать меньше боли — и всего, что с нею связано. А с нею связано, увы, и много безнравственного; с плохим питанием, обнищанием, голодом связано всеобщее *недовольство, злоба, гнев, воровство, насилия, убийства, алкоголизм*. Не всей массой они отсюда текут, но некоторой долей текут отсюда. Поэтому в «мировой гармонии» порочный, но даровитый, талантливый управитель «нравственнее» добродетельного, но неспособного: при нем пороки уменьшаются, при добродетельном — растут. В итоге страны «добродетель» множит иногда пороки, а порок — увеличивает добродетели. Для того чтобы это увидеть, надо только перестать нагревать воду в наперстке, перестать интересоваться спальнями и будуарами правителей, — а веселым, свежим взглядом окинуть страну, поля, площади, улицы. Пусть все это шумит веселой, здоровой жизнью, хорошо торгует, хорошо танцует; пусть везде шумят разговоры, беседы, споры; ни у кого чтобы не было сонных, апатичных лиц... А куда они пойдут к ночи — «к куме» или в церковь, право, *истории это неинтересно*. Человек вообще так прекрасен, что многие пойдут в церковь, без поощрения, без подсказывания. Дайте людям немного потанцевать, а помолятся они сами.

Но затем, к словам авторов «Вех» мы чувствуем все-таки симпатию, даже и видя их односторонность. Ничего нет противнее человека и противнее общества, заглушившего в себе интересом к политике всякую внутреннюю жизнь, психологическую, совестливую, поэтическую, религиозную. В особенности когда эта «политика» есть не творчески-созидательная, не спокойно-делающая, а критико-злая и критико-бессильная. Увы, в России только эта и была и только эта почитается, уважается, приветствуется. Если взвесить то море злобы, человеконенавистия, человекоотвращения, человекогадливости, в последнем анализе *человекоубийства*, какое ежедневно и ежемесячно вливается в общество печатью и затем разливается по стране через мелкий говор на «правительственные темы», то

поистине надо еще удивляться, как русский человек живет, существует и что<-то> делает, даже на что-то лучшее надеется для своей страны или притворяется, что надеется. Потому что какие же тут «надежды»... Вся жизнь русская, вся мысль русская, все нервы русские разделились на что-то «полицейское» и «антиполицейское», и умерло решительно все, кроме двух желаний: удержаться самим в полиции — это «правительственная программа»; или выгнать «тех» вон и на место их сесть самим в полицию — это «пожелание общества». Какой-то «рай», за обладание которым все спорят: квартальные, профессора, гимназисты, дамы. «Кому сесть в полицию, *нам* или *им*», — об этом написаны все повести, рассказы, много стихов, толстые и печатные рассуждения. Когда однажды я несколько высказался в печати в сторону всеобщего успокоения и примирения, то в ответ получил письмо, очень характерное *по тону*: «Кого вы хотите обмануть вашей елейностью? Разве есть в мире общество, более загаженное полицией, чем русское? Правительство приложило все старания к тому, чтобы воспитать общество в духе полиции, полицейского сыска и шпионства, дать обществу полицейские нравы и настроения. Разве есть в мире общество более шпионское, умеющее находить *наслаждение в злословии и травле*, способное считать сыщика за человека, предполагать в нем человеческую душу? Полиция, этот разный и злокачественный придаток, стала законодательницей выше самодержца: она предписывает правила нравственности, правила поведения, правила воспитания детей и взаимных отношений. Разве мыслимо общество более омерзительное, чем современное русское, у которого образец, идеал — сыщик». Вот больной тон человека, отравившегося политикою. Автор уже не в силах обернуться на себя и заметить, что *он сам* «находит наслаждение в злословии и травле» и подлежит *сам* убийственным определениям своего письма. Куда же такого деть, как не посылать арестовывать, хватать, казнить? Казнь уже стоит в его душе, как мечта, как идеал. И между тем вместо того чтобы писать это письмо, он лучше прислал бы другое с цитатой хоть <из> «Птички» Пушкина:

...В долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет...

и т. д. Право, на такую злобу только и умею ответить этим стихом.

Иногда кажется, что лучший спор с политикой и политиками — цитировать Пушкина, читать чаще Пушкина; после про-

чтения новой книжки «Русского богатства» взять да и переписать своею рукою что-нибудь из Пушкина. Переходя к серьезному тону, замечу, что если бы эти «полицейские пока без погон», которые думают и чувствуют в *тон* приведенного письма, которые печатают целые газеты и журналы в этом же самом тоне, победили бы и выгнали из участка «тех полицейских», теперешних: то, конечно, ничего иного они и не в силах были бы принести на их место, сотворить на их месте, как возвести старое и крепчайшее здание подобной же полиции, например, социал-демократической полиции. Только к этому и рвутся, никакого другого пафоса их писания и не имеют.

Поэзия освобождает.

Религия освобождает.

«Нравственная духовная жизнь», о которой говорят авторы «Вех», освобождает, улучшает, подымает личность. Только не надо тут специфически подчеркивать: «нравственная забота над собой!».

И если когда-нибудь мы смогли бы надеяться на что-то похожее на «Англию» или «Афины» у себя, то не иначе и не раньше как пройдя через успокаивающую зону поэзии, художества, религии, внутренней духовной жизни. Для создания свободных учреждений нужна *освобожденная душа, независимая душа*: возможно ли ее получить в теперешней политике? Мне кажется, наиболее «прогрессивным личным движением» в настоящее время был бы выход из этого всеобщего омута, отстранение себя от него, отстранение его от себя, некоторое *временное* одиночество в целях «собрать что-то целое в себе»... Это не так мудро и в пределах сил каждого. Нужно освободить себя от наркоза «последних известий»... Есть голубое небо, есть прекрасно написанная «История Греции» Грота¹⁴, есть, к сожалению, не переведенные «Etudes sur l'histoire de l'humanité»¹⁵ Лорана, бельгийского ученого. Наконец, нам, русским, имеющим такую роскошь литературы в прошлом, лучше в 3-й, в 4-й раз перечитать «Войну и мир», «Анну Каренину», «Капитанскую дочку», «Мцыри», чем еще альманах «Шиповника» или «Земли» и в них «Францов Венецианов» и «Великих Рыцарей Гуаков», т. е. какое-нибудь «В провале», «Крушение» или «Бездна» Айзмана, Миртова, Андреева¹⁶ и проч., и проч., и т. п., и т. п.

(Московский еженедельник. 1910. № 10.
6 (19) марта. С. 33—46)

